УДК 821.161.1 Мамин-Сибиряк-3 +
+ 821.161.1 Чехов + 316.356.4

Л. М. Слобожанинова

ОБРАЗ НАРОДА В ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЕЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.

Исследуются отличительные черты национального характера в творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка 1880–1890-х гг. Обнаруживаются связи и расхождения с произведениями известных русских писателей демократического направления: А. П. Чехова, В. Г. Короленко, Г. И. Успенского.

Ключевые слова: Д. Н. Мамин-Сибиряк; А. П. Чехов; очерковая типизация; национальный характер; писатели-демократы.

Имя Мамина-Сибиряка не входит в первый ряд русских литературных классиков, теряясь в массе писателей демократического направления 1880–1890-х гг. Вместе с тем в изображении русского национального характера и, прежде всего, человека «простого звания» ему следует отвести заслуженно почетное место. Именно доверие к духовному потенциалу народа и мастерское владение языком имел в виду А. М. Горький в приветственной телеграмме к 60-летию уральского писателя: «Ваши книги помогли понять и полюбить русский народ, русский язык. Почтительно и благодарно кланяюсь Вам, писателю воистину русскому...» [Горький, с. 133].

О национальном масштабе художественной типизации и пристальном внимании к родовой тематике в творчестве Мамина-Сибиряка уже было сказано [см.: Зырянов, с. 126–128; Соболева]. Позволим себе наметить основные тенденции изображения народа у Мамина-Сибиряка в сравнении с современными ему писателями демократического направления. И начать придется с А. П. Чехова, за которым стоит обновление художественной системы русского реализма.

Достаточно сложным было отношение чеховского интеллигента к народу. Не исключено, что отказ от «обожествления мужика» оборачивается для писателя изображением народа как тупой бездуховной массы. Из рассказа «Случай из практики»: когда доктор Королев «видел какую-нибудь фабрику издали или вблизи, то всякий раз думал о том, что вот снаружи все тихо и спокойно, а внутри, должно быть, непроходимое невежество и тупой эгоизм хозяев, скучный, нездоровый труд рабочих, дрязги, водка, насекомые. И теперь, когда рабочие почтительно и пугливо сторонились коляски, он в их лицах, картузах, в походке угадывал физическую нечистоту, пьянство, нервность, растерянность» [Чехов, т. 2, с. 339–340]. Молодой следователь Лыжин, оказавшийся всего лишь за сто с лишним верст от Москвы, думает о том, что «Родина, настоящая Россия — это Москва, Петербург, а здесь провинция, колония...» [Там же, с. 385].

Не случайно в обрисовке рабочего человека Чехов близок к «Нравам Растеряевой улицы» Глеба Успенского (по отдельности очерки появлялись в журналах

© Слобожанинова Л. М., 2014

с конца 1860-х гг., полностью опубликованы в 1883 г.). Дело в том, что исторический опыт народа так или иначе корректирует читательское отношение к художественному тексту. По этой причине не может не вызывать возражений эстетическая реальность, составляющая художественный мир «Растеряевой улицы». В самом деле, уникальные тульские оружейники, потомки прославленного Никиты Демидова, достойного сподвижника Петра, представляются Г. Успенским в очень непрезентабельном виде. Самая характерная фигура для тульской рабочей слободки — «растрепанная, ободранная и тощая фигура рабочего человека со свалявшеюся бородой», озабоченного единственным желанием — опохмелиться [Успенский, с. 26]. Вся «Растеряева улица» — это мир корысти, обмана, семейного деспотизма, крайнего нравственного отупения. Вопреки патриотическим устремлениям автора, *такую* Россию, *такой* народ полюбить невозможно.

В духе «Нравов Растеряевой улицы» пишутся чеховские «Мужики» (1897). Высокая оценка этой повести современной Чехову критикой имела значение, скорее всего, как аргумент в полемике с народнической идеализацией деревни, в особенности сельской общины. Последующее негативное отношение к «Мужикам», в частности, со стороны П. П. Бажова (из его письма к Л. Скорино от 20 сентября 1944 г.), также имеет основания. Высоко оценивая раннюю юмористику Чехова за способность «сгущать типическое до одной клички», Бажов в то же время не доверял чеховским «Мужикам»: «Многие произведения раннего периода дают мне больше, чем вещи последующего периода. “Злоумышленник”, например, кажется мне более правдивым, нежели “Мужики”, которым я во многом не верю» [Бажов, с. 142–143].

Надо полагать, Чехов знал подмосковную деревню. Жуково в повести «Мужики» обеспечивало Москву лакеями, дворниками, швейцарами, извозчиками, кухарками, няньками, горничными, «мальчиками» в заведениях купцов, сапожников, лавочников. Отсюда горькие рассказы Чехова «Ванька Жуков» и «Спать хочется». Однако это не та деревня, тамбовская, саратовская, вологодская, зауральская, сибирская, которая при всех классовых противоречиях кормила хлебом громадную страну, экспортировала зерно, поставляла надежных солдат для русской армии и выдвигала из своей среды выдающиеся народные таланты. Мамину-Сибиряку была известна деревня под Петербургом, которая, по его убеждению, утратила свою «деревенскую суть» и привела к вырождению великорусского типа: «Деревня перестала быть деревней, смысл ее тысячелетней жизни отлетел, мужик перестал быть настоящим мужиком, баба — настоящей бабой...» [Мамин-Сибиряк, 1915–1917, т. 11, с. 485]. Вместе с тем ни Мамина-Сибиряка, ни Чехова нельзя было бы упрекнуть в пренебрежительном отношении к народу.

Мало сказать, что чеховский интеллигент сочувствует народу, — он испытывает настоящую сердечную боль за бесправное и жалкое бытие русской бабы. Эмоциональный монолог художника в рассказе «Дом с мезонином» сегодня звучит не только как полемика с «теорией малых дел», но как бесстрашная констатация фактов, которые говорят сами за себя: «Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины,

болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и в вони; их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных — только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх» [Чехов, т. 8, с. 100].

При этом нельзя не видеть следующее. Если воспользоваться оценочным суждением Ф. Д. Батюшкова из очерка о В. Г. Короленко, Чехов наследует «тургеневский» взгляд на мужика — «сверху вниз», в то время как автор «Сибирских рассказов», отыскивая в мужике общечеловеческие черты, «подошел к нему ближе, как бы вплотную, настолько овладев народной психикой, что чувствовал себя вполне сродни с ним. Поэтому ему так и удался прежде всего опыт с Макаром (героем рассказа “Сон Макара”. — *Л. С.*), которого он водит по загробным странам в согласии с народными верованиями и представлениями» [Батюшков, с. 48]. Существенны замечания критика о способах поэтизации человека труда: «К той правде жизни, которая сообщает особенную жизненность рассказу, Короленко прибавляет красоту поэтического домысла особенно в описании природных явлений, как, например, великолепное изображение восхода солнца перед приходом путников к жилищу Тойона. Умение органически сочетать данный образ с обстановкой, в которой он в сущности и сложился, составляет другую оригинальную черту творчества Короленко. <...> В примитивной среде, которую Короленко избрал объектом своих наблюдений и писательского воспроизведения, человек действительно не может рассматриваться отдельно от условий жизни, и Короленко достигает наибольшей жизненности и убедительности своих изображений именно благодаря умению чувствовать одновременно человека, его быт и природную обстановку» [Там же, с. 49].

К сказанному добавим лишь одно существенное уточнение. В «Сибирских рассказах» поэтизируется не столько труженик, сколько бродяга, беглый каторжник, совсем в духе известной песни «Славное море, священный Байкал» (слова сибирского поэта Д. П. Давыдова; автор мелодии неизвестен). Именно этот герой испытывает неотступный зов «тайги-матушки» и волнующее ощущение «вольной волюшки».

Романтизированный В. Г. Короленко образ бродяги видится Мамину-Сибиряку иначе. Как свидетельствует цикл «Преступники» (1902), писатель разделял типы разбойника и преступника. Заводской разбойник, порождаемый крепостнической жестокостью, по словам Мамина-художника, олицетворял в народной среде «неумиравший дух протеста», воспринимался как «нечто необходимо-роковое, как своего рода судьба и кара, как выражение чего-то такого, что сплеча ломило и разносило вдребезги все установившиеся нормы, до дна возмущая мирное течение жизни и оставляя после себя широкий след» [Мамин-Сибиряк, 1953–1955, т. 8, с. 7]. Поясняя различие между разбойником и преступником, писатель подчеркивал: «Настоящий разбойник выходил на высокое место лобное, кланялся на все на четыре стороны и повторял стереотипные формулы всенародного покаяния: “Прости, народ православный...” Так делали и Стенька Разин и Емелька Пугачев. “Преступник” поступает совсем наоборот — нервничает, плачет, старается всячески

увильнуть, свалить свою вину на другого и, осужденный по всем пунктам, уносит из суда озлобленное убеждение в собственной невинности» [Там же, с. 34]. От разбойника и преступника отличается «варнак» — беглый каторжник (рассказы «Варнак», «Искушение о. Спиридона»). Пострадавший от суровых законов Российской империи, «варнак» находится в постоянных «бегах»: «Никого он не убивал, не грабил, а только бегал. Его неудержимо тянуло домой, и он жестоко расплачивался каждый раз за эту любовь к родине» [Мамин-Сибиряк, 1915–1917, т. 3, с. 65].

Очень разнообразны, подчас даже контрастны, у Мамина изображения простых людей из народа, людей труда. В 1883 г. в «Отечественных записках» писатель публикует очерк «Бойцы» («Очерки весеннего сплава по реке Чусовой») и в том же году в журнале «Дело» — очерк «В камнях» («Из путешествия по реке Чусовой»). Разумеется, при этом меняются не только времена года, но сама по себе фигура чусовского бурлака. Присмотримся в очерке «В камнях» к сцене наказания бурлаков, похитивших у мужика, снабдившего их продуктами, кисет с деньгами, а у его бабы — красный платок.

> Первого вызвал Окиня Рыбакова. Гаврилыч и старик с передней палубы разложили его на тюках, первый сел на голову, второй на ноги. Прошка стоял с лычагой в руках.
>
> — Ну-ко, Прош, отпусти ему десяток...
>
> Лычага засвистела в воздухе и оставляла синие рубцы на голой спине Рыбакова. Получив свою порцию, Рыбаков поднялся и как ни в чем не бывало встал на свое место к поносному. Васька сам явился на экзекуцию. Ему отсыпал Прошка целых двадцать ударов, но Васька даже не пошевелился. Этим наука и закончилась.
>
> — Спасибо, Окиня, за науку, — благодарил Васька, приводя в порядок свой костюм. — Теперь малость как будто согрелся...» [Мамин-Сибиряк, 2002, с. 470–471].

В очерке «Бойцы» уже иные акценты. Здесь поэтизируется фигура чусовского сплавщика. Исчезают вороватые бурлачки и последующая «наука», вместе с ними и рассказ замухрышистого Минеича о том, как, вернувшись со сплава, он тиранит свою безответную жену. Сплавщик Савостьян Кожин — достойный преемник чусовских сплавщиков, одаренных энергией, прирожденным умом и смекалкой. «Достаточно указать на то, что совсем безграмотные мужики дорабатываются до высших соображений математики и решают на практике такие вопросы техники плавания, которые неизвестны даже в теории. Чтобы быть заправским настоящим сплавщиком, необходимо иметь колоссальную память, быстроту и энергию мысли и, что всего важнее, нужно обладать известными душевными качествами. Прежде всего сплавщик должен до малейших подробностей изучить все течение Чусовой на расстоянии четырехсот-пятисот верст, где река на каждом шагу создает и громоздит тысячи новых препятствий; затем он должен основательно усвоить в высшей степени сложные представления о движении воды при всевозможных уровнях, об образовании суводей, струй и водоворотов, а главное — досконально изучить законы движения барки по

реке и те исключительные условия сочетания скорости движения воды и барки, которые встречаются только на Чусовой» [Мамин-Сибиряк, 1983, с. 250].

Последующая работа Мамина-Сибиряка над образами простых людей из народа пойдет в двух направлениях: с одной стороны, допускается известная поэтизация фигуры заводского священника, дьячка, конного пастуха, с другой — исключаются случайные подробности, не работающие на образ. В очерках «Из далекого прошлого» сокращается число действующих лиц и, соответственно, достигается классическая простота сюжета.

Особенно Мамину-Сибиряку удалось создание объемной фигуры священника-шестидесятника. В цикле воспоминаний об отце-священнике писатель отмечает, как с утра тот занимался в заводской школе, не прибегая к помощи учителя; затем выполнял самые различные «требы» своей небогатой паствы (крестины, свадьбы, похороны); вечерами шло чтение и бесконечная работа с разными церковными и отчетными книгами. В небогатом домике висимского священника сложился своего рода культ книги как «предмета высшего духовного порядка»: в особом шкафу стояли произведения классиков, в семье читали «Современник» и другие журналы 1860-х гг., которые отец приносил от заводских служащих. Отец не жалел, что пришлось оставить «благословенное Зауралье», где деревенские приходы были, конечно, лучше. «...Но отец ни за что не хотел туда идти, потому что там священники ходят по приходу с “ручкой”, собирая “петровское”, “осеннее” и “ругу”. Он предпочел свою бедную заводскую независимость» [Мамин-Сибиряк, 1953–1955, т. 8, с. 443].

От случайных подробностей освобождается образ конного пастуха. В рассказе «Морок» (1888) пастух Никешка фигурирует в непривычной функции «жалетеля», спасающего сбившуюся с пути соседскую девку Даренку. В рассказе «Макарка» (1904) конный пастух выведен в первую очередь как редкостный знаток лошадей. Он «знал “в лицо” каждую лошадь не только на своем заводе, но и с соседних сел и деревень. Он был и коновалом и объезжал диких степных лошадей, которых приводили на завод с далеких конных ярмарок. Лошадь для Макарки была все, и он “жалел” ее, потому что она была, по глубокому убеждению Макарки, гораздо лучше человека <...> И самые дикие лошади точно чувствовали любящую Макаркину руку и покорялись с первого раза, стоило ему только подойти. Вероятно, это был своего рода гипноз, а с другой стороны — Макарка не знал страха даже перед самыми отчаянными степняками, от которых отказывались самые опытные наездники» [Мамин-Сибиряк, 1985, с. 42–43]. Место несчастной Даренки занимает семилетняя Матрена Спиридоновна, постоянная собеседница и помощница покалеченного пастуха.

Горькая история Параши Кудрявой, пострадавшей от самоуправства крепостного управителя, излагается в «психологическом этюде» «Лес» (1887), предшествующем рассказу «Зеленые горы» (1898). В последнем очерке из «воспоминаний детства» создается объемный образ дьячка Николая Матвеича, способного подняться над извечной «дьячковской нищетой», живущего «широкой жизнью всей природы» [Мамин-Сибиряк, 1953–1955, т. 12, с. 600].

Среди «певцов» уральской природы поистине нет равных Мамину-Сибиряку, причем ни в современной ему литературе, ни в литературе более позднего времени. Маминские пейзажи в горном течении реки Чусовой, описания леса вокруг какого-нибудь золотоносного прииска сопоставимы разве что с живописными полотнами А. К. Денисова-Уральского. Однако суть дела не только в литературных пейзажах, принадлежащих рассказчику-повествователю. Маминские охотники, рыбаки, сплавщики, лесные сторожа сохраняют в своем мировосприятии отголоски древнейших мифологических представлений о родственности всего существующего на земле, воспринимают мир как единое хозяйство, в котором человек — разумный и добрый хозяин.

Природа в таком случае оказывается неотделима от жизнедеятельности человека. Для конного пастуха Макарки (из одноименного рассказа 1904 г.) настоящей жизнью была жизнь в горах, где по условиям найма он отвечал за тысячный табун заводских лошадей. «Что могло быть лучше такого кочевья? Целый день верхом на лошади, а вечерком с другими пастухами у своего балагана. Курится огонек, идут разговоры, пастушьи собаки из киргизских волкодавов стерегут собранный в загон табун... Хорошо летом в горах... пахнет свежей травой... наносит дымком от лошадиного курева, которое раскладывалось для отгона одолевавших коней комаров и мошкары. Короткий, но бодрый сон. Утром еще стелется густой туман по траве, а Макарка уже в седле... Он слышит, как фыркают лошади, как играют молодые жеребята, как зовут ржаньем кобылки оставшихся в табуне жеребят... Хорошо. Весело на душе... А солнце всходит над горами, такое большое, без лучей, и быстро подбирает ночную росу...» [Мамин-Сибиряк, 1985, с. 45].

Мамину-художнику было даровано редкостное искусство разговаривать с детьми на языке сказки. Сторож Богач убежден, что в зайце «своя душонка есть, так, плохонькая совсем душонка», а собака по кличке Еремка понимает каждое слово хозяина и не отвечает только потому, что не научилась говорить («Богач и Еремка»). Маминские труженики полагают, что нет большего греха, чем убить доверившееся тебе живое существо. В этом заключается смысл конфликта Яшки со сплавщиками, которые бьют полузамерзших гусей в сильнейший снегопад, когда перелетная стая пытается найти спасение на барке («Вольный человек Яшка», 1893), а также охотника Савки с управляющим Карлой, в неразумном гневе убивающим отличную охотничью собаку («На шихане», 1884).

Отсутствие интеллектуальной среды для маминских тружеников отчасти восполняется постоянным общением с миром животных, домашних и диких. Кульминационными в таких случаях становятся эпизоды, когда человек и животное оказываются равноправными действующими лицами. В рассказе «Зимовье на Студеной» Елеска *оплакивает* своего верного друга Музгарку; в «Последней требе» поп Савелий, который спешит к умирающей жене лесника Евтропа, *уговаривает* норовистую Лысанку выдернуть сани из сугроба; в рассказе «Емеля-охотник» ведется своего рода *диалог* между охотником, который хочет порадовать заболевшего внука «желтеньким олененком», и маткой-оленихой, уберегающей от выстрела своего детеныша, в ходе чего охотник оказывается буквально покорен самоотверженностью оленихи.

Уникально искусство Мамина-Сибиряка в передаче народной речи. Маминские сплавщики, рыбаки и охотники не путаются в словах, не засоряют литературный язык псевдонародными «туды-сюды», «тае — не тае», «покеда», «таперича» и т. д. Однако в их языке нет ни одного фальшивого оборота, чуждого народной стилистике. Речь Елески (рассказ «Зимовье на Студеной») строго логична, содержательна и эмоциональна. Стоит прислушаться к тому, как он делится с заезжим приказчиком своими редкими радостями: «У меня по весне праздник бывает, милый человек, когда с теплого моря птица прилетит. И сколько ее летит: туча... По Студеной-то точно ее насыпано... Всякого сословия птицы: и утки, и гуси, и кулики, и чайки, и гагары... Выйдешь на заре, так стон стоит по Студеной. И нет лучше твари, как перелетная птица: самая божья тварь... Большие тыщи верст летит, тоже устанет, затощает и месту рада. Прилетела, вздохнула денек и сейчас гнездо налаживать... А я хожу и смотрю: мне бог гостей прислал. И как наговаривают... Слушаешь, слушаешь, инда слеза проймет. Любезная тварь — перелетная птица... Я ее не трогаю, потому трудница перед Господом. А когда гнезда она строит, это ли не божецкое произволенье... Человеку так не состроить. А потом матки с выводками на Студеную выплывут... Красота, радость... Плавают, полощутся, гогочут... Неочерпаемо здесь перелетной птицы. Праздником все летечко прокатится, а к осени начнет птица грудиться стайками: пора опять в дорогу. И собираются, как люди... Лопочут по-своему, суетятся, молодых учат, а потом и поднялись... Ранним утром снимаются с места, вожак в голове летит. А есть и такие, которые остаются: здоровьем слаба выйдет, или позднышки выведутся... Жаль на них глядеть. Кричат, бедные, когда мимо них стая за стаей летит. На Студеной все околачиваются. Плавают-плавают, пока забереги настынут, потом в полыньях кружатся... Ну, этих уже я из жалости пришибу. Што ей маяться-то, все равно сгибнет...» [Мамин-Сибиряк, 1953–1955, т. 6, с. 562–563].

Принципиальное значение имеет неослабевающий интерес писателя к психологии старообрядчества — со второй половины 1870-х до начала 1900-х гг. Мамина привлекают в старообрядцах исконные черты великорусского типа: привычка к труду, который, по словам современного писателя Алексея Иванова, был «религией» кержаков; крепость и чистота нравов, трезвость и твердость убеждений. Не исключается вместе с тем фанатическая приверженность к устаревшей системе религиозных догм, которая со временем превращается в отрицание технического прогресса (см. исповедь старообрядческого архиерея Кирилла в рассказе «Великий грешник», 1893).

Итак, Мамин-Сибиряк поистине неповторим в постижении русского национального характера. Особую значимость его произведениям придают упоминания отдельных исторических лиц: протопопа Аввакума (рассказ «Сибирские старцы, кухарка Агафья и гражданки Рихтер»), Степана Разина и Емельяна Пугачева (цикл «Преступники»), выходцев из старообрядческого рода бояр Морозовых (роман «Без названия»). Это все знаки глубинного исторического мышления, свидетельствующие о способности писателя соотносить позднейшие по времени события с фактами тысячелетней истории России.

Бажов П. П. Письма. Дневники. Свердловск, 1945. [Bazhov P. P. Pis'ma. Dnevniki. Sverdlovsk, 1945.]

Батюшков Ф. Д. В. Г. Короленко как человек и писатель. М., 1920. [Batyushkov F. D. V. G. Korolenko kak chelovek i pisatel'. M., 1920.]

Горький М. Из очерка «Чужие люди» // Воспоминания о Д. Н. Мамине-Сибиряке. Свердловск, 1936. [Gor'kij M. Iz ocherka «Chuzhie lyudi» // Vospominaniya o D. N. Mamine-Sibiryake. Sverdlovsk, 1936.]

Зырянов О. В. Художественная аксиология Д. Н. Мамина-Сибиряка. Общероссийский статус уральского писателя // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2. Гуманитар. науки. 2012. № 4 (108). С. 124–136. [Zyryanov O. V. Khudozhestvennaya aksiologiya D. N. Mamina-Sibiryaka. Obscherossijskij status ural'skogo pisatelya // Izv. Ural. feder. un-ta. Ser. 2. Gumanitar. nauki. 2012. N 4 (108). S. 124–136.]

Мамин-Сибиряк Д. Н. Полн. собр. соч. : в 12 т. Петроград, 1915–1917. [Mamin-Sibiryak D. N. Poln. sobr. soch. : v 12 t. Petrograd, 1915–1917.]

Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч. : в 8 т. М., 1953–1955. [Mamin-Sibiryak D. N. Sobr. soch. : v 8 t. M., 1953–1955.]

Мамин-Сибиряк Д. Н. Рассказы разных лет. Свердловск, 1985. [Mamin-Sibiryak D. N. Rasskazy raznykh let. Sverdlovsk, 1985.]

Мамин-Сибиряк Д. Н. Полн. собр. соч. : в 20 т. Екатеринбург, 2002. Т. 1. [Mamin-Sibiryak D. N. Poln. sobr. soch. : v 20 t. Ekaterinburg, 2002. T. 1.]

Мамин-Сибиряк Д. Н. Уральские рассказы : в 2 т. Свердловск, 1983. Т. 1. [Mamin-Sibiryak D. N. Ural'skie rasskazy : v 2 t. Sverdlovsk, 1983. T. 1.]

Соболева Л. С. Репрезентация родового мира в творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2. Гуманитар. науки. 2012. № 4 (108). С. 137–148. [Soboleva L. S. Reprezentatsiya rodovogo mira v tvorchestve D. N. Mamina-Sibiryaka // Izv. Ural. feder. un-ta. Ser. 2. Gumanitar. nauki. 2012. N 4 (108). S. 137–148.]

Успенский Г. Власть земли. М., 1988. 400 с. [Uspenskij G. Vlast' zemli. M., 1988. 400 s.]

Чехов А. П. Собр. соч. : в 12 т. М., 1954–1957. [Chekhov A. P. Sobr. soch. : v 12 t. M., 1954–1957.]

Статья поступила в редакцию 03.04.2014 г.